

НАДЕЖДА ЖАНДР

ТЕАТР
БЕССОННИЦ

СТИХИ

Санкт-Петербург
2010

Надежда Жандр. Театр бессонниц, стихи. — СПб.: Издательство Союза писателей Санкт-Петербурга, 2010. — 184 с.

Вдохновение? — Избавление, причастие, раскрытие чего-то внутри... В эти минуты ты помнишь только свои глаза, как два огромных зеркала, которые впитывают небо и следуют — зрительно и чувственно — сладким во всех проявлениях движениям словесной души. Это есть ощущение некоего звука зрительно, тактильно, но сам он есть звук, и приближение к нему собой, посредством своего дыхания и самоизвержения в подобном ему слове, — это и есть попытка преодолеть стены Вавилона, соединиться с Богом. Полузакрытые глаза страсти. Улыбка Будды. Вдыхание Нездешнего.

Надежда Жандр

Предисловие

Эта книга стихов о «душе серебристой свирели» наполнена то сияющими под солнцем, то синеющими под лунной снегами; правда, туманы, тёмные, длинные тени, низкие нависающие облака, похожие на сугробы, и сами сугробы, похожие на эти облака, в книге Надежды Жандр преобладают. Мир тишины, сонного покоя, синие снежные ресницы леса, валуны, камни, их «обледенелые лица». «Столь странный север: на моё чело упали льдинки с лап тяжёлых елей». Автор настолько чувствует себя частью своей второй родины, что душу свою ассоциирует с «воздушным айсбергом», её островидящий глаз равен её воображению: «оленье солнце — рёбрами рога...», «разлетелись сумрачные гуси, распротёрли крылья снеговые...», «крылатый месяц меж крылатых сов».

Надежда больше всего в поэзии ценит музыку: «ночная птица стряхивает нотки с крыла к подножью Цезаря Кюи», с упоением слушает «сонные струны арф», наслаждаясь их «фиолетовым ладом». В её стихах «мелькают» симфонии Дебюсси, мелодии Глюка. В книге «о душе серебристой свирели» иногда промелькнет отсвет весны — «плачущий поднебесно — лунный готический апрель», «талая вода стекает тихо, по струнам, ладоням в пречистую купель».

К концу книги появляются осенние мотивы: «время пахнет мёдом. Настой хвои, коры и бурых листьев она (осень) в пруду мешает помелом».

Думаю, что стихи Надежды Жандр-Нисканен приближают русского читателя к сказочной земле Суоми, затрагивают в нём струну мира снежности, прозрачности, подлинной чистоты.

Галина Гампер

О душе серебристой свирели,
что в заоблачных далях тоскует
и поёт родником неумолчным,
я слагаю летучие песни.

Из мелодий холодного лета,
и снегов, и трепещущих льдинок
там, где вечности плавные крылья
разлетелись, растаяли светом,
я себе тишину сотворяю.

Зарёю серой свиристелей стаи
в рябиновых дождях февраль качали
и снежную завьюживали муть,
ленивыми играя веерами.

На веки севера кладу пыльцы налёт
и искор снежных тайные туманы
запутая в еловых волосах.
Тигровые румяна, ветер, лес
забыты в облаке. Ты плыл среди чудес.
Не ускользай, — стеклянные мотивы
напели выступы обледенелых лиц
камней, хрустальных друз, морозного эфира.
Ты был в беспамятстве, пропущенный грозой,
как нитями бездонных строгих молний, —
и страшен, и силён; и, радугами полный,
Господь Удачи сыпал звёздной пыли,
и ожидало время дань небес.

Я видел сон, души воздушный айсберг,
он синим был, балет стальных лучей —
как день небес, сияющий и райский
парад стрекоз и слюдяных мечей.
Холодная небесная улита,
оленье солнце — рёбрами рога —
дробило зеркало на лоне ледовитом —
и проступала талая вода.
Стекала тихо, призрачно, по струнам,
ладонями в пречистую купель,
и плачущим, и поднебесно-лунным
казался мне готический апрель.

Крылатый месяц меж крылатых сов,
мигающих волшебными глазами,
я провела, и голубое знамя
небесных кочевало... лилий
иль облакоподобных белых перьев?
И проносил туманный бриз осенний
и клочья пены, пуха, и цветы,
плывущие от спиелей высоты
по морю тёмному на тихий, сонный север...
Там собирались замки островов,
тяжёлых снежных парусов, линейно
полярным ветром выстроен, развеян,
размётан, но воздвигнут — соразмерен
летучий призрак — город, сон и айсберг.

Зимний день

По привычке солнечным обманом
наградил — и неизбежно скрылся...
Разлетелись сумрачные гуси,
распростёрли крылья снеговые...
Но устало млечную охоту
он устелет светом утром ранним,
он устелет крыши, и дорожки,
и туман белёсый по-над лесом...
И забрезжит искрами бесплодно
дрожь несуществующих созвездий,
по ветвям раскиданных колючим.
Разольётся звуком шорох сонный,
будто тихо взглянет, тихо скажет,
быстро высвистит тебе навстречу
солью дружбы — солью снеговою —
обжигающий колючий холод.

Провалившись в облака-сугробы,
вижу профиль бога снегового,
он закроет синие ресницы...

Воздух жгучий и присыпан солью,
боль и радость. Брежу тишиною,
улыбаюсь счастливо: синицы...

А в серебряных парчовых складках
небо — сонное большое одеяло —
прячет день...

Зима с тобою — первый крик весны,
когда из-под заснеженных равнин
проглядывают новые снежинки
цветов небесных, птиц золотоголовых,
в душе трепещет свадебное солнце
и угли тлеют, вылетев из печки,
глазами говорящих строгих кошек
на подоконнике стареющей зимы...
Штормит. То пенится загадочная вьюга
в бокале льда искрящимся шампанским.
Ты будешь пить? — И кони пристяжные
забудут путь, и коренной собьётся
на ритмы серебра тревожных ёлок.
За солнцем посылай его, за солнцем
снегов и ночи, вышитой из кружев,
натянутой на пальцы острых веток,
звнящей люстрой, катящей снежный ком
и бьющей саблей звонкую посуду
людского смеха...

Равнины солнечного света
лежат и тают на озёрах глаз закрытых.
Твоё лицо таинственно и сладко,
жемчужный ряд полуоткрытых губ
да волосы лесов, их тёмный — без оглядки —
и колющий прицел; ресниц — леса, леса,
и кожа век, спадающих снегами.
Ты спишь. Дыхание короткими волнами
напоминает эхо меж холмов
покатистых, грудеобразных, круглых.
Ты улыбаешься во сне — и слёзы солнца
катятся струями по грузным валунам
и застывают. О, моя природа!
Какой тоской и счастьем замерзают
в полёте птиц столь радужные мысли!
И остаются в памяти небесной —
леса, леса, полуоткрытый сумрак
их девственного, тающего сердца.

Столь странный север: на моё чело
упали льдинки с лап тяжёлых елей,
высокий призрак сна, белым-бело,
и сладко спится, ветры в колыбели
перевернули розовый сугроб,
в лучах вечерних нежится крылатый
дельфин, касатка держит солнца сноп...
Который год в такой тиши? — Наверно, пятый...
Я привезу подарочных огней,
из яблок огневых украсим ёлку
и будем слушать сказки про зверей
заоблачных: медведя, зайца, волка.
И упадём — наверх и никогда
не будем помнить сторону иную
усталости, где чёрная вода...
Нам остаются только поцелуи...

Он шурился. От солнечного света,
или от слёз, иль облачного снега,
пыльцы, голубизны его слепящей.
Морозные закручивались вихри
от белых кип сугробов. Люди шли
как призраки среди броской чистоты
доселе неосвоенного мира.
Пришельцы. Напряжённо их вниманье
и горечь. Снова изгнаны из рая.
Теперь не смеют глаз своих поднять
и взглядом лица обласкать фасадов:
на всём, на всём налёт Его печали.
Гонимые, так тихо, тихо тени
плывут среди красоты —
и слёзы стынут.

Что в снегопаде чувств
на зеркале окна
осколком льда рисует королева?
И перьев отпечатки для поэтов
и музыкантов праздно оставляет,
как будто нет прекрасней ничего,
чем медленной зимы вуали, вздохи
среди пышных горностаевых снегов.
Что и цветов-то, кроме снежных лилий
с упряжкой из белых лебедей, —
всего и прелести... Однако же послушай
тот шёпот:
«Не закончен мой узор.
Тропических лесов стеклянные разводы
наутро станут розовым искриться
и восхищать своей алмазной гранью!
Я музыку пишу
и ритмы для стихов.
Вглядитесь в этот правильный рисунок,
и вы найдёте то, что недоступно,
и в созерцании
отраду обретёте!»

Сон тяготит на всём.
Сугробы видят сны.
Как на земле, барханами на небе
дымятся мысли, чувства, переливы
душевных неосознанных движений —
Совсем прослойка воздуха тонка.
И сшито всё суровой ниткой сосен
в соединение седеющих небес
с неровною поверхностью метели.
Там не исчезнет сумеречный вздох
колючих покрывал, тенёт в постели
холодной призрака. И сон ему прядёт
провалы в невесомость, безмятежность.
День не взойдёт. Меж двух его ладоней
увидится, как долька апельсина
под бровью облака, улыбка выюги юга,
чья нежность отливает перламутром.

Заплывшие, пресыщенные стражи
слепающих груд алмазов, серебра
уже давно здесь спят и спят от века...
Они вершины. Их хрустящий сахар
такой вязкозный и такой лохматый,
искристый, нежный. В тающих халатах
и с рукавами длинными, свисая до земли
и далее, поднялись эти горы.
И возвышающе-звонящий их покой
и простота соединенья с небом
влечёт, влечёт... Тожественным движеньем
рука хватает воздух, мимо губ
летит излом несовершенных линий,
графически очерченный пером
в кардиограмму ангела и птицы.
Парит душа во власти повторенья
их мелодических уставов. Горы!
Как вы могли и смели так неточно,
случайным сплавом лиг и заострений
застыть, заснуть, меня заставить думать
о вечности, о том, что это вас
я так люблю и так безмерно верю
в граните, камне, твёрдо и всегда,
что я... могу
осилить этот путь.

Снежный наст испещрён письменами —
это птицы, воркуя, ходили,
семена подо льдом оставляли.

Это тонкой иголочкой хвойной
лист коричной прозрачной берёзы
занесён под стекло ледовое.

Это вздохи седого вельвета —
иней в зелени мха молодого
влажной искрой на солнце играет.

Опять из сахарного плена
летит в ночные ковыли
и поджигает корабли
стальным лучом, бенгальской пеной.

Гламур и всполох, сор слюды,
и равнобедренный осколок
одним замедленным уколом
дыханье рвёт — и пляшут льды.

Их раскалённый взор опасен.
Улыбка ранит нежный рот:
то циферблата оборот
движеньем стрелок вспять украсит

прапамять дымного стекла
живых и влажных кабошенов,
и равновесно, отрешённо
качнётся и исчезнет мгла.

О, айсберг в глубине своих ночей!
О, плотное нагроможденье света,
скользящего зазубренным стеклом
в воде веков, в безмолвии великом
кромешности, где правят руки ветра.

Ты, лучезарный, в море серебра,
отверженный Луной, её осколок, —
нет, не сияешь, но паришь в огне,
где нет путей и звёзд глаза угасли
под тяжестью базальтовых небес.

Плыви, титан, не покорённый утром,
но только красок розовый отлив
в текучих зеркалах своих надводных
на миг останови и раствори,
оттачивая линий совершенство,
даруя блеск и отражая солнце.

Танцы белых волков. Наверху разбегаются волны.
Индевеет лицо. Метких прутьев упругая сечь.
В альвеолах души разливается гелий — не больно, —
и бежит ультразвуком морозная детская речь.

Щёки яблок горят, и зрачок над каминным угаром
прямо в небе колючем находит слезу и звезду:
этот белый полёт, это гончее счастье — не даром!
Синим звоном блесны я в ладони твои упаду!

Сивых северных снов в одеялах пуховых утеха
раздробит хрустали до молозива розовых зорь,
и в весёлой стране беспричинного детского смеха
затеряемся бликами! Сердце, биенье ускорь!

Этот день, ванильный и ломкий,
лёг у ног усохшей травой.
Шоколад, пастила, потёмки,
влажных елей елей и рой.

Солнце — долькою леденцовой
по коричневым земли губам.
Валуны — моховые совы —
соловеют и пьют туман.

Тонет мятой зелёной сливой
небо рыхлое в молоке.
Тени — синие, снег — пугливый,
сладкой пудрою по щеке.

Лесов высокую корону
венчают звёзды. Тишина.
И наплывают стрелы звона:
гудит сияния волна.

Переливает серым светом,
парит игольчатый орган,
кристально-розовым балетом
сменяет шёлковый обман,

зеленоватым блеском тлеет
и тихо утекает вдаль.

Высокий парус строго реет
или шевелится вуаль?

В изгибе линий — леность, лунность,
в движенье — магии покой.
Иль это Бог ведёт по струнам
своей невидимой рукой?

Подшёл кто-то белый
с лицом клоуна
и спрашивал странные
и глубокие вещи.
Зима затянулась.

«Ах, ну отчего же белый?» —
возразила дама,
затягивая на шее
удавку жемчужных бус.

«Утро режет глаза.
Притворяюсь беспечною, спящей.
Протянуть этот миг, протянуть
до удара открывшихся окон и глаз
в электрический мир. А пока...
белый звук осторожного солнца,
по шершавой стене стекающий».

Не видящий белых кораблей
не может плыть.
Одна лишь белая канитель
качает на ветру
быстроходные вихри речного тумана.

Маятник.
Рисование дуг и спиралей,
белые клубки,
зависающих в воздухе мыслей.
Относительность.
Предположение.
Белый лист бумаги.

И плач родившегося.
Опять, уже в который раз,
этот плач родившегося
в Белое Воскресенье.

Младенец
разрывает своим криком
тишину вечной парадоксальности.
Он, мудрый, ищет белого забвения,
касясь ресницами яви.
Меняя, формирует пространство
неумелыми движениями
и дыханием своим
отогревает округлые формы
улыбчивых возможностей.

Белый шёпот между белыми деревьями
от мучного воздуха Луны.
И — опять тишина кромешная.

Белые угли бывают в зазеркалье.
Также белые пантеры
там избегают встречи
с долгими взглядами
белых небес.

У белой коровы были
совсем голубые глаза
и рог от Луны опаловой.
И, знаешь, она была
беременна летней грозой.

Белый? — как сон,
который ты хочешь увидеть.
Белый? — как зверь,
роскошное чудовище,
ползущее в закоулки памяти,
тормозящее самые интимные чувства.
Белый — это свет.
И тот, и этот.
И, главное,
он ничего не отрицает.

Какой божественный удел
нести победные знамёна —
то лилий тонкая корона
пронзила небо! Лев не смел
своею красною пятою
коснуться вновь Её земли,
и флаги — неба корабли —
парят над девы головою.

Жанна вложила золото в ножны
сонной серебряной песни,
в меру заката, волны осторожней,
веского слова уместней
силы епископа. Только крапива
ложе её устлала.
Жанна не станет невестой красивой.
Жанна смертельно устала.

Реймса чёрная корона —
воронов удел.
Знаешь, только ветра верность,
сон, сыпучий мел
и бряцанье кандалами.
Бешеный испуг:
как взовьётся волосами
крик, костёр; и друг
облачится едким дымом
мантии — король...
Отольют? Обнимут? Снимут?
И — утихнет боль?

Жанна, Жанна, ласково и тленно
тонкая пыльца, сухой песок,
обнимают тело и колена,
в темя проникает серый рок.
И, вонзаясь липкими огнями
до бездонности девических очей,
сонное, рассерженное пламя —
красный рок в душе стучит твоей.

В ночь земли, в её внимательное ухо
сон проникнет тихим шелкопрядом,
тьмюю мягкою растапливая вечер.

Бледнеет синий занавес окна.
Театр бессонниц. Я совсем одна
гляжу на улиц тёмные кулисы.
Ещё прельщает старый камуфляж
фасадов и дворов. Рассветный страж,
мне жалко эти тающие лица
ночных подслеповатых фонарей.
Канатов-проводов, столбов и рей
корабль грустящих маленьких японцев.
Небесных парусов холстина так бледна,
как чахлый день, которого вина —
кончина праздненства, прожектор,
маска солнца.

Стена без окон, где твои глаза? —
И с дostoевских крыш от сонной фальши
течёт по трубам, люкам дальше, дальше
твоя слеза, эстетная слеза!
Туберкулёзный бледнолицый вождь!
Торчат твои намокшие деревья,
как праздник палок, любящих еврея,
а он Иисус Христос, и он же дождь.

Окно ночное звуком «о»
 расширилось, и тишина кромешна
 насытила собой пространство комнат.
 И вещи, спящие доселе, пробудились
 и осознали сопричастность бытию.
 Так маленький вертеп, где овцы дремлют,
 утрачивает заданность углов
 и сферой отплывает в невесомость.
 И — сон и трепет ткани парусов
 на грани меж миров. Окно ночное...
 Что ж, подойти, ударившись о вечность,
 задумавшись, как заглянуть в глаза
 стоглазой Матери Причин, ища покоя?
 Заискивающим движеньем кошки,
 чей вогнутый хребет в тоске полёта
 заносит голову всё выше, выше...
 Иль распластаться тающей медузой,
 принять загар, не глядя на источник,
 и грезить о своём, забыв о небе?
 Нет, рабство, нет! Свои раскинув руки,
 я стану падать... вверх. Плитой ляжет
 воздушный морок плазменных частиц,
 и даль раскинется, приняв песчинку.
 Улыбка тишины. Окно ночное.
 И шерстяные сны стоят лесами,
 ментоловый лоснится холодок
 от лунной капсулы на бледной коже.
 И думается: звук живого «я»
 в перетекании мгновений — вечен
 и теплится карминовым восходом
 в проёме ночи.

Неутолённый взгляд ночных зеркал,
 впитавших шорохи нутром послушным.
 Среди теней во тьме себя искал
 твой голос влажный, поцелуй воздушный.

И серым войлоком прикинулся металл
 неузнавания, гипноза, отчужденья.
 Кошачьих глаз сиреневый опал
 метался ледовитым наважденьем
 по розовым мозолям детских звёзд,
 по кафелю расколотого неба,
 и пел сверчок о том, как сон пророс
 в проём пустот, где были цветёт и небыль.

Разложим комнату на части сонных числ
в пространстве бытия полузабытых планов,
и в глубине беспомощных обманов —
воображения архитектурный смысл.
То построения готический излом
пронзает пиками немой застывший берег.
В предел пределов сможем ли поверить? —
И бредим им, и утопаем в нём...
Зачем, скажи, пространные леса
чарующего медленного звука
от звона созданы, гудения и стука,
ломающего дверь и небеса?
И вот уже — бессмертник не цветёт,
и снова гривы табуна ночного,
как Он сказал, беспомысленно слово,
но память — свет. И больше, чем полёт.

Млечный путь расправился крылами,
окружил планету змеем тесным:
над землёй — кочующее пламя,
по воде — чарующая песня.

А забвенью лунно, сердолико,
струнной грустью капает тягуче.
Померанцы, дягиль и гвоздика —
в медный таз, и нет варенья лучше.

И в песок забывчивое время
заигралось, сидя у обрыва,
шелкопрядов облачное племя
от беды дитя своё укрыло.

Есть в каждом городе среди пустынных улиц
 отростки в никуда, и кажется, что там
 слепой и старенький трамвай въезжает
 в пожухлую тряпичную траву...
 Отсутствие домов... И чувство шара,
 и там, где опрокидывают таз
 на грудь со вздохом влажной пустоты,
 набухшей от тумана и молочной,
 где кружкой слёзы собирают, несут,
 где грязь падения, ободранных коленок
 и звук грудной протяжного гудка —
 там, только там и ширь, и правда покаянья,
 и разрешенья временный и вечный
 житейский, нерастраченный покой.
 И там, где воздух, лижущий пространство,
 неясное соединенье неба
 и темени с твердыней — там тоска
 и суетность нелепая проходят,
 и ты один бредёшь, и там, на небе,
 плывёт улыбка... Бережно подносишь
 свои уста... Святое колдовство...

Нам всем за сорок.
 И мы не станем
 уже так хороши, как раньше,
 так умны
 и внимательны на события,
 имена и шутки.

Старые лицедеи,
 придерживая пальцами
 не столько сигарету,
 сколько дым от неё и пепел,
 мы утончённы, прекрасны,
 как за абсентом Дега,
 только в полных барах.

Что ж. Наше время ушло.
 Память о нём — со дна
 тёмной такой бутылки
 запахом истекает.

Что ж. Мы, должно быть, смешны:
 жмёмся при свете солнца,
 так беззащитно пытаюсь
 прятаться, чтоб сохранить
 остатки...
 собственного достоинства?
 Былого величия?

О, век Просвещения!
 Мы — твои старики — ископаемые
 в бантах, напудренных париках,
 декламируем возвышенные оды,
 которые
 уже никто не понимает.

Мы всё ещё пытаемся вернуть
своё божественное «вчера»,
но выглядим, как клоуны,
чьи лица забавны, трагичны
и всегда — жалки.

О, мы ещё живём,
медленно унося с собой
своё лето,
как скарб несбывшихся мечтаний
или связку недочитанных книг.

Кто вспомнит нас?
И вспомнит ли
с улыбкой понимания?

В застенке мыслей медленная лень
вращает колесо старинной прялки.
И нить суровая — ворсистый серый лён —
ложится плотно скрученной спиралью
на памяти моей веретено.
Простоволосой,
в холщовом рубище, с озябшими ногами
сiju, сама кручу, стирая пальцы,
и хочется воды. Кругом темно,
и лишь лучина трудную работу
трескучим пламенем, янтарною слезою
в ночи приветит. Земляная влажность
наощупь дышит близостью реки.
Туда б упасть и плыть, отдавшись силе,
лицо, как вызов, бросить небесам
и, слизывая соль поlynных волн,
целующих уста, взмахнуть руками
крылатой мельницы и — воспарить в тумане.
И думать лишь о том, как лилий стебли,
что прочным корнем крепятся ко дну,
хоть и длинны, несут дневные звёзды.

Как хотелось бы мне в тихий дом
робко постучаться и застыть
перед тяжёлой и скрипучей дверью.

Слышу: это дерево ночное
движется во тьме и шелестит
о далёком призрачном покое.

Слышу звуки птиц: они проснулись,
глядя в ночь из тёплого гнезда.

В небе заалеют поцелуи,
и остудит звонкая вода

из колодезно-озёрной сини
жаркое дыханье и лицо,
неподвижное в тяжёлой
прошлой жизни.

Из пустоты стеклянными дворцами,
нежданной и ненужною свободой
ты одиночество моё воздвигнешь.

Когда-нибудь заворожённо
волос твоих коснусь — ты не пугайся
безумной отрешённости лица.

В глазах любви ты всё тогда увидишь:
как я живу лишь мыслью о тебе,
как счастлив, зная,
что ты есть на свете.

И мне не надо, слышишь, от тебя
особого вниманья. С первой встречи
я очарован до конца времён безбрежных.

Мне кажется порой, что я нигде.
И только серое тепло и губ горячих
дыханье жадное, желанье ласки, поиск...

И, знаешь, только память о тебе
наполнила моё существованье
провалом в небеса, но от земли
не смею в бесконечность оторваться.

И умереть я не хочу, чтоб не забыть,
кому своим блаженством я обязан.

«Едва ли колокол ночной
над грешною землёй...
Подковы утомительного дня...
и ночь без темноты... течёт рекой
флюид прохлады... плащ, как звёздный дом...»

«Пойми меня!
Ты бредишь. Этой ночью мы уснём.
Немного молока — и небосклон,
как серое бельё текучего тумана,
вдруг станет тихим, медленным теплом.
Да, мы уснём, взойдёт ночной шатёр,
и звёзды радости негаснущей растают
у нас в душе, и облачная манна
подушек кучевых... И крылья — вырастают,
и вот — летим! Блаженный летний сон».

Луна слепа. И, голову склоня,
роняет звёзды узкими глазами.
Пришли опять во тьме искать меня
седые шорохи неслышными шагами.

Зиянье первородно, без границ,
и первобытен сна звериный воздух.
Вспорхнёт ли птица веером ресниц —
и снова стихнет трепет —
страха отзвук.

Пространство тонет шёлковым чулком —
густое масло чёрной глади ночи.
Шершавый свет, как серым молоком,
лоснится и рябит, волну щекочет.

Отождествляется с материей душа,
пройдя сквозь дебри призрачного сада,
дыша туманом, серебром дыша,
что источает жгучий ночи ладан.

Склонённые, глянцево фарфоровые лица.
Луна застыла — масляная лампа
на чёрном лаке. Призрачный рояль
у лёгкой двери на мою террасу...

Лучом — фигурки из комедии дель арте,
бокал метаксы, томик Алигьери...
Да что ещё там? — Высшая печаль
и опыты любви быстротекущей жизни.

Роскошестввуя в сумерках мудрёных,
не чувствуя границ, глубоко пасть —
вот сочетание из розового с чёрным.
Жемчужине дана такая власть.

Но кованые заперты ворота.
Летят во тьме четыре лепестка,
как будто страшный кто-то,
ловкий кто-то
у пеликана формулу цветка

пытался вырвать.
Но закрылись створки
моих фантазий робких и чудес.
И тополя, как у Гарсиа Лорки,
стоят на страже стонущих небес.

Откинув голову, я видела во тьме,
как ива низвергалась водопадом.
На ширину души раскинув руки,
я принимала гул воды священной
и слышала: то речь в меня вливалась
от материнского развёрнутого неба.

А звёзды жгли бенгальскими огнями
мои ладони. Горечь хризантемы
оттаяла на сомкнутых губах,
и я вдохнула тёмный тёплый воздух
моей свободы и моей печали.

Не двигаясь, я достоверно знала,
что боль земли любовь превозмогла
и что теперь живым крестом на небе
парит душа. Её большие крылья
расправлены заоблачным теченьем.

Ночная дорога — дыхание путника.
Далёкий фонарь — всё, что есть.
Иголками серыми воздух предутренний
наколет желённую взвесь
белёсого ока — молчанья бездонного,
зрачка в катаракте луны.
И тихим песком зашевелятся волнами
слова, что свободой больны.
И ветер упором всевластья, насилья
не сможет стены возвести.
Не нужен мне посох, не нужны мне крылья:
ах, только б идти да идти!

В круженье каруселей — сны,
шарманки нежное сиротство,
мохнатых бражников хмельных
у губ щекотка. Ужас роста:
то расставляет ловчий, мрак,
силки с вишнёвым ритуалом,
то растворяет кофе страх
под безразмерным одеялом,
и бледно-розовый венец
роняет лунное затмение,
и странным кажется конец
в песке немного пробужденья.

Как нетронутый берег
волнами тоски и забвенья,
как открытые губы
навстречу ли солнцу ночному
или звёздам, проросшим
на тёмной твердыне небесной,
я промедлю, за волосы времени
свет притянувши,
и как будто живым одеянием
тихие пчёлы рассвета
облачат мою душу.

Это не ночь для сна.
В ней лепетанье листьев, ветер,
шорох выцветших трав, метёлок, плевел...
Лунный ковыль, волна...

Пролитым маслом и неоном,
плеском беззвучным, током тона
гладишь камыш, пески...

На темнокрылом бледно-зелёном
замершем небе робко, влюблённо
пальцы зари узки.

Сидит на корточках маэстро козлоногий,
к губам землистым флейту прижимает
и щурится от звука тростника.

С течением времени он изменил обличье:
старик сидит в косматом полушубке
и греется на солнце, космы ветру
и бабочкам отдав играть цветистым.

Кряхтит. Когда появится прохожий,
он жмётся, чтоб камнями не побили,
не перепутали с видением ужасным.

Глазами синь расплёскивает — слёзы, —
когда отрывок из «Орфея» Глюка
услышит лес полуденный, качаньем
и шёпотами теме чутко вторя.

Пара абрикосовых косточек на блюде.
Пение ручной канарейки.
И солнечный зайчик,
отражённый в воде.
Когда мать
поливает мне на руки из кувшина,
он скачет зигзагами по потолку
и веселится.

Китайская ширма
с инкрустацией перламутром,
где по шёлковому полю
бродят маленькие человечки
с чёрными косичками на голове.

Чайный стол,
накрытый белой скатертью на веранде.
Чашки из костяного фарфора
и запах утренней мяты и Melissa.
Букет растрёпанных полевых цветов —
опять в кувшине вместо вазы.
Блюдо с черешней.

Женщина,
кутающаяся в ажурный
шерстяной платок.
Она кормит воробьёв
мякишем от большого белого хлеба,
стоя на ступеньках веранды,
вздыхая,
поджидая кого-то.
Сад полон предчувствий и свежести,
ведь полдень ещё не наступил.

Чуть ветрено.
Но это не мешает цветам
настороженно прислушиваться
к шёпоту деревьев и трав.
Цветы участливо кивают.

И, конечно, пруд.
Гладкий, как зеркало.
Там специально развели
красную и золотистую породу
пресноводных рыб,
за которыми охотятся
только местные кошки.
Да и то безуспешно.

А дальше? —
Дальше уже другой мир,
где случается всякое,
но в моём воображении
тропинка за скрипучей калиткой
как бы исчезает в тумане.

Я улечу в цветочные края,
где радуга в пыльце,
где счастье возится в меду, роясь,
и в жалящем венце.
Закроюсь крылышка слепой слюдой,
махровый тельца след
увидю на земле, под резедой.
Оставлю этот свет.

Забрался в куст — шальных ветвей прибор,
а шуму — что у моря меж камнями
и скалами. И плески, и качанье,
лицо в листе, волне, зелёной ванне
взахлёб, и изменений свежий рой
так душу тормозит. И блики, блики...
И тени, тени... Рябь и пестрота.
Сквозь толщу — солнце,
распадаясь, от куста
частей и преломлений многолико,
размножено, осколочно. Мечта!
И чародейства ласка и улика.

Когда кони ржут и трава томится,
будто дым течёт, и ночная птица
молодым крылом ветры умирляет,
выходит на реку цыган, цыган.
Он умывает золотые руки,
склоняет долу чёрное лицо
и думает о девушке ночей,
что движется неслышными шагами,
на землю звёзды неба осыпая.

— Зброшенный дом у истока реки,
забытой блаженной глаза глубоки... —
я слышал, трава говорила...

Я слышал: рассвета косое крыло
расправилось цветом и в небо ушло, —
я слышал, трава говорила...

— И вот закрутили свои жернова
молочные реки, их сила жива, —
я слышал, трава говорила...

— Пахтанье молочных перин-облаков
для жаркого солнца полуденных снов, —
я слышал, трава говорила.

Сон хризопразов зелени ночной
под фонарями,
и млечный путь, увенчанный Луной,
и близость с вами,
поэзии возвышенной труды
и благосклонность
моих учителей, моей звезды
тональность, тронность,
успех, рукоплесканье волн морских —
всё это — Логос,
не я, а только мысль и только стих.
Служенье. Строгость.

О, серафимы, лето стрекоз!
 Жаркую тенью — в темя, в износ
 старого платья, тела, души,
 мечутся миги, звуки в тиши
 звонкого зноя с треском летят,
 детской головкой облак кудлат,
 синее небо синей тоской
 красит активно глаз, и покой
 тянет и шепчет: ты потяни
 нежные ветки, нежные дни,
 не упуская и не тая —
 тихая вечность — вера моя.
 Ты не услышишь и не поймёшь:
 то серафимы, лето стрекоз,
 сильного зноя желтый подвал,
 тайного смысла ложный овал.

Люблю я тяжести земли
 глубокий неугрюмый сумрак,
 дыхание вздымающейся почвы,
 наполненную влагой, исходящей
 среди всегда ночных живых корней.
 Один потянешь как бы за струну,
 и волосками нежными отростков,
 и щекотаньем мелких насекомых
 растение тихо-тихо скажет: «Здравствуй!»

Люблю я тяжестью земли
 пласты, уложенные тонко,
 как торт бисквитный. Только пресс,
 оврагов, резких переломов
 разрезы вдоль и напряженье
 способны породить и силу,
 и мощные цветы дубов и вязов.

Люблю я в тяжести земли
 своё предназначенье. Кротко
 свой путь кротом прослеживаю я.
 Глаза? Глаза...
 — Ведь зорко только сердце!
 И глина на моих ладонях вспухших
 приобретает формы приобщенья
 к высокому...

Ходили слушать, как ветер, ветер
ерошит пряди травы:
поклоны, шуршание, резкие плети
осоки, метёлочек... Только в лете
есть звукопись шёлка, мелодии трения
лезвий прибрежных и хлопанье листьев.
Есть и другие сети-мишени:
клеящий сок или сок материнства —
всё перепутали кольца и пальцы,
локоны вьются вьюнком непослушным,
шёпоты знойны, и вздохи воздушны...
Тонким узором непрочные пальцы
в зелень плетут
желтизну из-под солнечных
бликов, и близки лукавые сонмища.

Капуцины снуют, бисер собирают,
лапки потирают.
Это что, орден? — Орден, орден.
Капюшоны серые, у запястья — чётки,
мордочки кротки.
А это что? Хвостик? — Хвостик, хвостик.
Где ж ты, боженька, наш Бог?
Обезьяньей шерсти клочок
из последней склоки —
это что: жертва? — На алтарь! На алтарь!
Раскурили фимиам корки апельсинной
в чашечке кокосовой, тёмной и старинной.
Это что? Месса? — Обезьянья месса!
Маленькие глазки, бисеринки-бусы.
«Научи нас видеть, Господи Иисусе!»
Капуцины снуют, бисер собирают,
лапки потирают.
Это что же? Глазки? Чёрненькие глазки?!
— Глазки, глазки.

Укутаюсь в кустах под шерстяною тканью
такого тёплого коричневого цвета,
какой бывает на полотнах Брейгеля
и душу согревает чужестранца
и соглядатая иных пустых миров,
как в зеркало волшебное глядящих
и припадающих:

«Средневековье!

Монашество!»

Да грязный снег, да ветки
уколами торчат, напоминая:
ведь ты живой, причастен не случайно
к такому прошлому, где люди-человечки
от Брейгелей и Босха. Их страданья
не вытерпеть, не снять тому, кто хочет
их рассмотреть и тихо встать меж ними.
И не хочу я проникать душою
и видеть это, видеть... Я слепой!
Иду и радуюсь с весёлой палкой
да с бубенцами, что сведут в могилу...
О, милостивый, милостивый Боже!
С жестокою улыбкой наблюдаю
за пляской плоских гномиков, как будто
они не мы и никакого дела
нам нет до них, в то время как кругом
der Garten Eden и его возня.

Кирпично-красный
мой привычный Кранах
и черноватой зеленью влекущий,
и разлетаются олени в кущи
под арбалетом кисти. Право, странно:
вот складчатый наряд темно-болотный,
батист рубахи белоснежной шёлка,
и перьев страуса заманчивая чёлка
под глазом оникса кивает мимолётно.
У алтаря прелестной Катарины
стоит палач, и меч из нежных ножен
любовно и замедленно — не может,
уже который век поднять не может...
За трапезой сидят Максимиляны.
Столы добротны. Доверительные позы,
овечьи волосы, улыбочки-занозы,
должно быть, по-немецки полупьяны.
А целомудрие твоих сюжетов женских? —
Лукавые, развратные фигуры,
такое чувство, будто от природы —
волос остатки, ногти-заусенцы.
А благодушие убийственной Юдифи?
А бюргерски борцовский бык и Лютер?
И Ренессансом подбородки круты,
и Реформации уже назвали мифы.

Дети поливают дерево вином и молоком,
и на них смотрит небо
участливо и невинно.
Что за райские плоды принесёт эта осень
и кому доведётся их отведать?

И рыба-солнце уплывает
туда, где снов чернильных тишь,
туда, где бледные лучи
в краю ресничном Навзикаи

по телу странника морей
в бессвязном шёпоте прибоя...
Скажи мне, море, что такое
летучий список кораблей?

Открылась синяя тетрадь.
И пальцев ломкое свечение
коснулось волн. И вдохновенья
легла прозрачная печать.

Фрегат в солёных парусах.
Молочная по цвету ткань,
пропитанная штормами и солнцем.
Полированное чёрными руками
дерево бортов, высотность мачт,
скрипящих и выгибающихся
под действием тяжести.
Сусальное золото отделки
и ужасающе-нежный лик сирены,
несущей судно, как чашу.
Вы видите её глаза?
Веки, окрашенные киноварью?
Древесное лицо настолько чисто,
что жизнь его напоминает смерть,
а сам корпус фрегата — её гигантские крылья.
Но волосы коры, с фальшивой красотой уложенные,
пухлость двойного подбородка,
складочки на шее, на руках гедонические —
с лепнины театральных лож.
Взгляд, устремлённый выше горизонта,
просительно-беспомощен,
а груди божественной девы,
их заострённые конусы,
дают надежду на счастье и покой
при жизни или уже там, за краем.
Рассекая собой волну,
несёт сирена корабль
к атоллам и островам,
где прибрежный песок, как мука,

где в гротах хлопает и булькает вода,
где ерошатся от морского бриза пальмы,
где шоколадные туземки
с длинными и узкими ступнями
поднимают на голову
плетёные корзины и сосуды
и смотрят, улыбаясь,
то на мускулистых матросов,
то на деву морскую,
приведшую их сюда.

КОРА РОСТРУМА

Взглянула с корабельной высоты
на волны силы, что несут течение,
и падала, коснувшись горизонта
стопами света Ашвинов, в пучины
бескрайности, сворачивая время.

Но соль моих волос — от облаков,
но тень полнощная в глубинах океана
пронизана зернистым током звёзд,
там, наверху, где нет веков — лишь миги,
и солнца бертолетовою дрожью
в своём непрекращающемся взрыве
застыли и кидают языки.

Надводие зеркал натяжной плёнкой
на грани сна меня остановило,
на глади лезвия над тьмы безумным зевом,
и я очнулась и глотнула сини
из неба темени, из медной чаши жизни.

И проплывали серые столетья,
и взламывали ложь своих зеркал
на утреннем малиновом исходе.

И наполнялся воздух пустоты
неугасающим единством звука
там, где туман лизал ещё причалы
и отступал, лиясь, пред ликом яви.

ДЕБЮССИ

Коронованный солью морскою,
Лазуритом пучин и высот,
Облаков меловые бемоли
Добавляет в мелодии вод
Для бегущего пенно и струнно
Елизейского бриза. Весна
Баркароллы сиренево-лунной,
Южной арфы тугая блесна.
Светлый мёд, карамель сердолика
Собирает для сонных сирен
И — сияет симфоний палитра!

(ДЕБЮССИ. Не сравнимый ни с чем!)

Ветра веер волны вышивают.
Времени велюровая вязь
сном стекляруса седеет, снеговая.
Соль сирени свитками срослась.

Бертолетово-белёдые барханы
бороздят безбрежность. Бисер брызг!
Шалые, шершавые шерханы
щерятся, щетиня шкуры: «Шшшшиссс...»

Шорохи шлюза.
Шагреновой кожей песок.
В воздухе липком
зависла безмолвная бездна.
Не прикоснись —
то мембраны вневременный сон, —
не усомнись
в парадоксе стихий равновесных.

Серое рубище ветер просеял насквозь.
Над голову
лиловой полоскою утро.
Памяти скарб —
вечный зов — узловый варикоз —
листья затопит следов
в роковую минуту.

Ловкий возничий
загнал своего скакуна,
с губ полетела
солёная белая пена.
Ахнули стены,
пошла за волною волна —
Красное море,
где плоские камни не немы.

В вечерней музыке ночная глубина
и чувство фиолетового лада.
Услада — сила солнца, но луна
безбрежнее. Ночные водопады
холодных рук и сонных арфы струн
расходятся ленивыми кругами,
вода поёт, а сотни тысяч лун
мерцают в море звёздными стадами.
И шёлк ночей немонотонных волн,
подлунный бриз рассеянного света
луною полн, любовью тихой — полн
глубинного, полунощного лета.

Плен сладких сил и сонных хризантем,
Аквариум полуденных морей,
Возьми меня совсем.

В полёте головы цветков, актиний руки
и нежная гигантская змея,
как шлейф, как трен
взметнувшая искрящийся песок —
всё обвевает лень.

И бусы пузырьков и глаз,
и перьев веера, и плавь, и удивленье,
и соль протоков, чувств, и ласковые кудри,
с архитектоникою спящего лица
кораллов венценосной королевы
и щупальцами эрогенных зон,
случайное волны прикосновенье
дарует донный поцелуй — и стих.
И ты так вожаделенно спишь,
и колыханья полн, и песнопенья.

В ракушки собираясь, время-море
плодится жемчугом, а розовые бусы,
от буквы «о», при виде клёва солнца,
подёрнутого устричным туманом,
заглатывает медленный моллюск
и покрывает тайну створкой неба.

Слышишь? Сонные серые звуки
от туманов, от гор, поднимаясь,
облаками плывут кочевыми?
И ползут по прозрачнейшей глади
и земных, и небесных озёр
острокрылые, и перьевые,
и пузатые, как пеликаны?
Видишь? Добрые горные духи
языками дождей омывают
придорожные серые камни
и небесные их валуны?
И трассирующей — — — стеною
возникает — — — соединенье,
возникает их со-единенье...
Вырастают деревьев ладони...
Лаской тесного рукопожатья,
вихревого, стремятся потоки
обнаружить наличие Бога...
обнаружить наличие Бога...
обнаружить наличие Бога...

Развалины. Разрушенная крепость,
и на зубцах намокшей кисеёй
со стрёкотом стеклярусным, стекая,
висит парное облако дождей...
Рябит, колыхнется понтийский нежный воздух,
и — долече — пальцы, волосы, душа
сползают, ластятся к воде зелёной,
и помнится бессонница Гомера,
сирены Дебюсси, влекущие меня,
даритель жемчуга — стрелец полных звезд,
и сеятель очей от Велимира,
и капельник немолчной тишины,
поющей и танцующей цикадой
под тёмными свечами кипарисов.

...И, как в воде, по Павловску мы бродим,
нырятьщики на дне воспоминаний.
И медлен каждый шаг и долог,
и можно повторить: вот мы сейчас...
вот мы сейчас с тобой одновременно
вне времени тяжёлого, пространства,
в той осени... в той осени живём.
Туман — твои глаза. Мои глаза, слепые
от слёз и ветра, сковывает нежность
и ласковый Дассен...
И камни глаз дороги под ногами...
И этот вечный фильм который раз,
уже который раз — о невозможном...
Он о тебе самом, о мне самой,
о нас, таких счастливых и случайных,
и можно повторить: с тобою мы сейчас,
с тобою мы, и мы стоим, склонили
друг к другу головы. И в этом столько правды,
что небо выгибается дугою,
скрывая нас, храня, благоговя ...
И в этом столько боли, столько боли —
фонтаном сердце, каплями дождя
по зонтику стекает. Мы — под ним,
и что-то беличье в руках твоих озябших,
и наше смешано знакомое дыханье,
и мы с тобой... о, мы с тобой... молчим...

В фиолетовых липах полощется дождь.
На картине оливковым маслом
нарисован пейзаж, он просеян насквозь
фиолетовым шорохом влажным.
Зарифмованный стук у подножья стволов
и арпеджио сизо и звонко
фиолетовым вечером сыплется слов —
слов — легато от веток неломких.
Фиолетовым сном растянулся туман,
над купелями плачутся травы,
набросали тенёта алмазный обман,
фиолетовой ласковой лавы
проливает сентябрь. Высоко-высоко
торопливые тянутся тучи
фиолетовый сок, аметист, молоко
лить и сеять пунктиром колючим.

Я, вероятно, не избавлюсь
от шума острого дождя.
Я буду слушаться тебя,
тебе я непременно нравлюсь,
мой серый дождь.
Внимаю резкий, чистый звук
открытым всем нутром и кожей,
нет для меня слезы дороже
стучащей, бьющей в лунки рук,
мой грустный дождь.
Взлетев на высоту мечты,
я поравняюсь с тучной тучей,
дарительницей слёз могучей,
куском от неба красоты,
мой сильный дождь.
И я напьюсь твоих даров,
с прозрачной ватой наиграюсь
и напоследок догадаюсь:
то млеко от твоих коров,
мой нежный дождь .

Ливневая змея, сливовая змея
с веточки свисает, глазки строит...
О, дорогая сердцу Серпентина,
как глаза твои лучисты и красивы!
Ливневая змея,
сливовая змея,
дорогая Серпентина,
как глаза твои лучисты и красивы!
Ах, это только серый дождь!
Ах, это только тусклый серый дождь
с веточек свисает, по листьям вьётся
струями, каплями, струями...
Ливневая змея,
сливовая змея,
дорогая Серпентина,
как глаза твои лучисты и красивы!
Ах, эти спелые сливы
в каплях росы!
Ах, эти сочные, сладкие сливы
на ветках дождя,
ливневого дождя,
сливового дождя,
дорогая Серпентина,
как глаза твои лучисты и красивы...
капли, капли, сливы, сливы...

Снова за стеклом окна
струнное пространство.
Звуки арфы в мире сна?
Или же фаянса

колких спиц коснулась сечь
в парадоксе ритма?
Или эльфов звонкий меч,
или это битва

светлых сил, отважных сил?
Эти стрелы их ли?
Это ль капли с лёгких крыл?
Мы сидим, притихли.

Дарит музыку и сны
дождь — учитель тишины.

Касались пальцами, писали письма,
ступали на воду и пели, пели,
и видел нас старик, листвою вяза
лицо своё укрыв. И он был — вечер.

Колодец снов, раскидывая блики
по глади камня, слушал, долго слушал.
На глубину кидали поцелуи,
тянулись до его ночного солнца.

И застывали, обратившись в пену
черёмух горьких, золотой корицы,
застав себя в расплох в его объятых,
лучились, таяли, летели и лучились.

Дом создан из песка. И дыма. Тихий дом.
И в нём кровать устелена листвою.
Там шорохи лесные, тёплый дождь
и облака плывут над головою.

Туда приду и стану там мечтать.
И крылья стрекозы зеленоглазой
осколками блеснут от слюдяных зеркал
иль окон в мир, где не была ни разу.

О, что за тишь! Высоких сонных стен
в безвремяе бездонном осыпанье.
И, поднимаясь, тонешь, иль паришь,
иль растворяешься.
И познаёшь молчанье.

У тополей раскрашенные веки,
зелёные раскосые глаза.
В карете едет запоздалый вечер,
колёс на небе бледная межа.

Закручивая облачные вихри,
возница гонит ветер и коней.
Ладоней лунных капли, слёзы, их ли
в созвездия вплетает Водолей? —

Забутые сиреневые чётки.
В тишайшем парке снежные скамьи.
Ночная птица стряхивает нотки
с крыла к подножью Цезаря Кюи.

С крыла к подножью Цезаря Кюи
ночная птица стряхивает нотки.
В тишайшем парке снежные скамьи.
Забутые сиреневые чётки

в созвездия вплетает Водолей,
ладоней лунных капли, слёзы их ли?
Возница гонит ветер и коней,
закручивая облачные вихри.

Колёс на небе бледная межа.
В карете едет запоздалый вечер.
Зелёные раскосые глаза
у тополей. Раскрашены их веки.

Тополя с серебристой листвою,
то — полёты средь зимнего лета,
то — метели над тёмной водою.

Тополя. Подойти и обнять.
Только снег на земле пеленою,
только время, текущее вспять.

Лиловым сумраком приходит ночь неслышно,
Серпом из золота вуаль свою прорежет
И лёгкой тьмой укроет небо. Пышный
Букет из астр, и холодность, и свежесть.
Осколки льда разбросаны по полю,
Играют колкою алмазной гранью.
О, ломкие звенящие бемоли, —
Далёких звёзд цветенье и сгоранье.

О, руки серебра, ведите в ночь,
ресниц коснитесь, горькой хризантемы
и лунной лютни струн.
И, улыбнувшись немо,
заснёт моя печаль, тоски седая дочь.
А завтра день небес дарует детство!
В потоках радости живого хрусталя
качнётся медь, закружится земля:
лазури смех и цветников кокетство.

У трубочиста на крыше мурлычут небесные кошки,
 у трубочиста в печурке глинтвейн и весёлый огонь.
 Сыр для мышей и остатки от яблочной шкурки —
 признак загадочный счастья мышиною души.
 Если считаешь себя одиноким сухим дикобразом,
 щёткой для чистки отнюдь не эмалевых труб,
 то тускловатый фонарь осветит твою лестницу,
 стразами
 звёзды заблещут, и дым зашекочет усы.
 Ночь трубочиста! Подвязки девицы в цилиндре,
 щётка и кнут, отдыхающих сфинксов Фини
 сладкий прищур и пробежки по клавишам крыши.

Из жизни цветка

Сударыня! Тюльпанов ваших жёлтых
 открытые глаза — забытый смех,
 изгибы рук подобны песнопенью,
 листам, легато... Капельки росы —
 мгновение — сорваться уж готовы,
 дрожат...

Вы не обнажены: в хрустальной вазе
 корсетом жёстким высечен узор
 как кружево, и маленькое море
 у ваших ног, и вы совсем одна,
 вы плачете, и смотрит мокрый носик
 у завязи цветка...

Какая прелесть! Он ей ставит мушку!
 Тычинкой чёрной — беспардонно — хлоп!
 И обдувает, и ещё приносит
 каких-то бабочек, разносчицу-пчелу,
 и свежесть утра, и ещё букашек
 из форточки...

Счастлив её любовник!

Стоит она торжественно на глади
 зеркальной, полированной, стола,
 царица Савская. От оскорблений
 свернулись лепестки её, опали,
 и лишь тычинки — тонкая корона...

Моя покинутая тень
застывшей веткой
лежала на дороге
и коченела.
Но зачем
мне смерть? —
Тень встала и пошла,
и среди корней
трёх сросшихся изогнутых деревьев
она нашла любви
плакучий симбиоз.
Исполненная тонкости душевной,
её рукой своей коснувшись, ива
серебряными узкими глазами
и шёлковым плащём зашелестела:
«Не плачь.
И жди.
И будет вешний день».

Минареты деревьев в зелёном тумане лесов.
В настороженном времени снов уходящего лета
нависанье и близость в себя погружённого света,
и текучее небо, и тишь предвечерних часов.

Медоносных туманов снега, их курение, тление —
это белые птицы озёр, это крыльев метель,
это сосен седеющих шум, источающий хмель,
это серые сумерки, ветер, и пепел, и пение.

Верблюжье шествие псалмов,
несомых крыльями к Аллаху,
чалмы мечетей, куполов
изящный рост, изгиб и сахар.
И вот — любовь из виноградных глаз,
в улыбке дива тлен, и мёд, и жало.
Великой Турции торжественный алмаз,
коварной лёгкости ночное покрывало.

Метельщик, тёмный друг Шагала,
не мог бы силой беззащитной
исправить линию излома
любви плотской и магнитной.
Раскосым глаза созерцаьем
ищу наивность и распутство,
заворожил меня извозчик,
возница Кришна, праздник утсав.
Скажи, как прежде: свет небесный,
крадись сквозь пальцы кошкой серой,
струей воды в вине артерий.
Суди последней в жизни верой.

Мой поцелуй с картины Климта
и берег, дальний для меня,
простимся. Прежнего огня
не будет. На моей ладони
прилив бушующих волос...
И вновь кричащий этот звук
небес от синего разрыва
танцует, плачет и танцует
твоими близкими глазами...
Иль это я в траву густую
вновь окунул лицо и руки,
паломником-единорогом
морскую пену нежных губ
ласкал, влюблёнными глазами
угадывая синий пламень...

Среди зеркал и лабиринтов Лувра,
в одном из узких коридоров, странно,
где свет и тень, смешавшись с лёгкой пылью,
и призраков, и вихри образуют,
я встретил женщину. Она блистала.
Усеян жемчугами пышный бюст,
от золота парчи — коричневое лакомство —
был кринолин тяжёл. И пальцы хрупки.
И веерок — из крылышек? слюды? — казалось,
похрустывал в руке или звенел. Так тихо.
Тихо и так больно. А золото волос
дышало — ах — и локон
просвечивал насквозь. На шее жилка
бежала быстро-быстро, поднимаясь
к пушистой мочке уха, а у губ
немножко слева, ниже, чем обычно,
там я заметил мушку. И губам
она являла явную угрозу
излишней чувственностью в стиле маньеризма.
И губы поддавались. Поддавались.
Я... дерзнул, рукой коснувшись платья, я обжёгся
зелёным пламенем бушующей любви,
увидел узенький носочек туфли, пряжку,
ажур чулка, дорисовать хотел
свою нелепую, но страстную возможность:
здесь, в коридоре Лувра, боже,
забыв себя и странный, странный мир,
желание в реальность обратить?
Познать её? Поверить негу, тайну
её устам? Всё обратить в огонь?

«Мадам, простите, боль моя пристойна
и мысли чисты. Отчего ж ваш взгляд,
ваш нежный взгляд так неподвижен, страшен,
как будто неживой среди живых
и тёплых черт любимого лица?
Как будто хочет
меня убить мой ангел, мой хранитель?
О, простите! Я не посмел бы! Что сказали вы?
Стеклянным голосом потусторонним...
что сказали?!
Вы гобелен?!..»

**Тем, у кого есть трость,
цилиндр, монокль
и прочие ненужные вещи**

В зарослях у моря
три блаженных дэви
ели фрукты киви,
языки кололи...
Если бы вы знали...
Если бы вы были...
У меня в перчатке
жёлтой канарейки
пёрышко простое
и боа густое...
Выцветший стеклярус,
трачена вуаль,
тубероз, муара
бесконечно жаль!
И лицо под слоём
тонкой серой пыли:
вы меня узнали?..
Вы меня забыли...
Вы меня любили...

Небо русое. Два светила.
Этот лик, будто мир безбрежный,
не растратила, не забыла.
Помню памятью старой, снежной
листопад твоих глаз: ты взоры
опускал и ронял в смущенье, —
бессловесные разговоры —
всплески рук, их полёт и пенье.
И, сжимая кольцо объятий,
разбудил золотого змея,
силу тесных медленных сжатий
разомкнуть не умея...

Как будто нужен липы цвет,
репы из лошадиной гривы,
пастушья сумка, корень слив,
огня торжественный букет,
глаза созревшие оливы,
столетник, живший много лет,
мимозы пышной и пугливой
живая кисть, ещё браслет
граната с кровью, прутья ивы,
трахея льва? Фагот? Кларнет?
Пыльца кладбищенских растений,
и мерный шорох тёмных крыл,
и провалившихся могил
и перепонок средостений
открытый вздох? Пьянящих сил
болотных травяных брожений,
ворсинок бабочки, кружил,
живых её прикосновений
глубинный смысл... чтоб ты — забыл
и помнил чудное мгновенье?

Ты обернулся. Нежный. Посмотри глазами вечера на лиственное платье, пушисто тополиное боа, и кромочкой земли естественно оттенены стволы и складки. Руками вечера коснись моих ресниц, я плачу. Непременно улыбнись, движеньем губ укрась, моя отрада, весенний воздух сумерек и лёд негаснущих, несмелых поцелуев. Огнями вечера доверчивы сердца, ворота пышной тополиной ночи чудес объятия для странников откроют в пространство близости, где будет без конца дышать, и вспыхивать, и теплиться желанье.

Тучи словно тихие слоны.
Ветер и барханы под ногами.
При луне — малиновые сны,
по волне — малиновое пламя.

Пряный вкус прибрежного песка,
палевые пальмы утопают;
и течёт небесная река,
млечный путь шелками устилает.

Острым звуком звёзд искрит раскол
между светом и щемящей тьмою.
На границе против тысяч зол
кто-то гладит медленной рукою,
и ерошит пенный океан,
и ласкает сладкий, винный воздух.
Звук утих. Гармония — обман,
равновесия минутный роздых.

И качнётся тьма, и, чуть дыша,
как дитя с улыбкой в колыбели,
плавный свет — протяжная душа —
заиграет розовой пастелью.

Нам Дроссельмейер сказку обещал,
принёс шкатулку, маленький театрик,
и занавеси лёгкие раздвинул —
бордо и золото французских тонких лилий.
И раздаётся колкий лёгкий звон:
старинные каминные часы
и гладь паркета в полутёмном зале,
и сказка началась: совсем бесшумно
приотворилась полированная дверь,
атласный туфель
с плоским чёрным бантом
и эбонит застывшей чёрной маски,
испугом детским захватив дыханье,
открыл... Венецианский карнавал!

Венеция, маски, ночные гирлянды,
гондолы, огней маслянистый налёт,
он гуще, чем чёрный, и слаще, чем ладан,
играющий нефтью. А плащ-небосвод
Усыпан звездами Великого Мага,
и девичий смех из открытых дверей,
и веер, и фейерверк, только не надо,
не надо, не надо... Скорей же, скорей!

КАВАЛЕР БАРОККО

Моря брюссельские кружева,
лунный кувшин,
мокрого бархата, рисовых звёзд
мой властелин,
бисер сыпучий, рассыпавший свет
ровных зеркал,
пластика смысла, волна перемен,
лунный опал,
сонно-молочный хрустящий бисквит,
пористый дождь,
тополь цветущий, цветущий орех,
ветренный вождь
нежно-лиловых, вишнёвых затей,
игр и препон,
длинный, медовый, растянутый в ночь
шёпот и сон.

Входит во сне шагами дождя.
Тихо смеётся и тайное шёпотом
мне говорит, прерывая дыхание,
как у виска проводят пером.
Ленью дарит или вяжет к кровати
путами зноя, верёвками ветра,
нежным касается солнцем колен,
катит в ложбину тяжёлой луною
и — засыпает в безмолвии синем
пленником вольным пугливого счастья.

В твоих глазах цветёт авантюрин,
томится жар полночных ожиданий,
лиясь по наготе упругих очертаний
от восходящей золотом Сикким.

И твой восточный сон ресницами овеян,
покой, пресыщенный и дышащий вином,
и ясновидящий, и ищущий в ином
пространстве неги сказочное время.

И запрокинутые выпуклости гор
в гудящем позвоночнике желаний,
в навязчивости нежности и маний,
в губах безмолвий...

Защитник птиц ночных
и слушатель усердный
ночного лепетанья ветерка,
ты спишь среди зорь, дневное полыханье
твоим глазам подмешивает грусть.
Взор устремлён туда, на расстоянье
вечерних бдений, сумеречных снов,
знакомых звёзд и лиц теней туманных.
Случайно залетев, неровно ты идёшь,
и шелест в поступи осенней.

По рекам на деревьях плыть,
купаться при свечах
и подо льдом рассматривать узоры
на глубине из водорослей тонких.
И солнечную мякоть абрикоса
не сразу есть, и взмахивать руками,
снежинок диво нагоняя и метель...
И лошади всё рассказать прохожей:
ведь это так естественно, что лошадь
по городу идёт... В осенний праздник
читать стихи — для леса — и менять
наряд и настроение букетов
в парадных Петербурга, их руинах —
для призраков... Да я сошла с ума!

Несёт сиреневые свечи
усталый вечер.
И, вечности немая дочь,
нисходит ночь.
И, раскрывая створки перламутра,
трепещет утро.
И снов рассеивает тень
стоглазый день.

Бабочка. Живая.
Синими взмахами крыльев
меняет угол зеркал:
день — вечер — ночь —
и опять утро,
и дар развёрнутых ладоней,
и гладь озёр
на глубину ангельских глаз,
и плеск, и растворение
там, наверху,
где взор распахнут навстречу небу.
Что ж.
Будемте детьми.

На том стоим, тем дышим, тем играем,
что в просторечье музыкой зовётся,
чи струны — седина; смычок пугливый
лобзает душу, но ломает пальцы.

Для чтенья в темноте нужна мне скрипка,
для слуха тонкого — прозрачная природа,
для осязания — небесного ковбоя
ночное немигающее стадо.

Жертва и мудрость.
Зёрна граната в ладони.
С руки дающего
красными нитями стекает сок.
Стигматы души.

Я обнаружил, что я нежен.
По пальцам капли долгих слёз
стекали стрелами. На крыльях
повис надорванный туман
и я — затихший ангел серый...

Ночное буйство тёмных глаз
замедлил утра вздох бессонный,
повесил кисеёй волос
мною неразгаданные тени...

Тиха предутренняя пряжа
передвигающихся селей,
когда легки и волокнисты
по небу бледному кочуют,
подвижны, в сонмище надводном...

Я уповал: долины снега,
разлёт ресниц в лучах горячих
мой сон несбывшийся врачуют.
Мой сон, когда лукавый отрок
с судьбою птицы синеглазой
земле лицо любви подарит...

Кто научит меня летать?
О, я возьму весь голубой воздух,
и жир философского камня,
и нечто сверхзвуковое,
сейчас недоступное.

И мне не надо будет
иного способа познания,
кроме Провидения,
качающегося на волнах,
идущего по волнам,
струящегося светом.

Опалённые перья, полёт, золотые глаза —
это солнце в зените немого осеннего крика
разрывает на части святых и слепых образа
и кидает добычу, играя с пантерами дикими.

Ты не бойся пойти посмотреть: это — тень, это — свет.
Ночь Грифона для узника в белой парче не настанет,
и горит в синеве утолённое жертвами пламя,
и кидает заблудшим зрачки золочёных монет.

Я на драконе синем улечу
искать в ночи жемчужину принцессы
среди далёких разноцветных звёзд.

Я упаду в пучину вод лазури
и оседлаю белого дракона,
летающего стрелой навстречу солнцу.

И будет день — я на земле останусь:
сыпучим серебром укрою горы
и стану слушать, как приходит вечер.

В ночи у золотых драконов
зелёные глаза,
при свете дня — оранжевые свечи,
по вечерам они задумчивей фиалок,
а утром серым — солнечные камни.
Когда оковы сбросишь — приходи,
взгляни: безумно пляшущее пламя
и хороводы, сонмы мотыльков
на свадьбе ветра в сказочное время.
Как лепестки, сгорая на ветру,
они кружатся, темы составляя
прозрачным сильфам холода и снега.
Когда оковы сбросишь — приходи,
и хризантемами моих китайских ножниц
разрежем пустоту твою, вставляя
камелии, цветную канитель,
и изукрасим мелочью цветочной
холодное стекло
в молчащих зеркалах.

А говорят, в глаза дракона
нельзя смотреть... Там жёлтый дым
в сияющих лучах, замедленный в воде
подъём слюды и покрасневших,
воспалённых век
усталая, последняя открытость.
Он старый человек, его дыханье — меха,
и кузницы железный чистый запах.
Вот так. Он слишком много... он летал
и властвовал над Средиземным морем
и морем снега на краю земли.
И вот оно совсем-совсем казалось
ему блестящим и лазурным мелководьем,
таким смешным, барашковым и звонким,
как отдалённость детских голосов.
И потому он воду не мутил,
садился скромно на песчаный берег
и бережно дышал, чтоб не вспугнуть,
не разбросать резвящихся барашков.
Шуршали крылья, барабанил дождь,
и — огнедышащий — одолевал, бывало,
глубокий кашель — горы сотрясались!
Потом стихал, стихами песни пел
на тихом языке своём змеином
и щурился и, радуго отбросив
для развлечения перелётных птиц,
тихонько засыпал, сопел. Как камень,
ноздря и сопло раскалённой лавы.
На пляже нежился. На ласковом песке.
Вздыхал. Грустил. Старел.
Вообще был мудрым.

Светало... Розенкрейц,
ещё не воплощённый,
склонил своё лицо...
И весь ты был — опал,
ко свету причащённый,
как око и яйцо,
как розовая мысль,
как облако и жёлтый,
роскошный жёлтый глаз!
Ликуя и шумя,
от ветра — шёлк, и шёл ты,
воздушный, — первый раз!

Как элементы
рыцарских доспехов,
воздушных, облачных...
и лезвие реки...
мы так легки,
поднявшись над собой.
По гладкой лестнице —
и тоньше льда она?
Иль будто из воды
стремительных потоков?
И розой — сердце из груди
в зардевшейся петлице,
и каплями — вина...

И прилетел мой светлый ангел в ночь,
и на крылах его оттаял иней,
и, загоревшийся звездой синей,
он темноту стремился превозмочь.
И взорами рассеивая свет,
исчез. И с ним печаль моя умчалась.
И лишь перо в руках моих осталось.

Всё воск и лёд, всё ласточкины гнёзда —
парение паломницы души.
Рельеф миров в полузабытом прошлом
Тибета повторяют миражи.

Ласкает плёс сиюминутной жизни
воздушных замков заданный формат.
Сон пустоты. И смотрит с укоризной
даритель терний, мирра и стигмат.

Что рай? — Беспечных горлиц воркованье?
Медовый сердоликовый покой? —
Дионис падает... Знак созиданья.
И след гепарда теплится Звездой.

Я нарисую зеркала,
как двери в таинство явлений,
и у подножья брошу тени.

Увью терновником сухим
я входы в розовые кущи,
где Боги дремлют всемогущи.

И кубки мёдом напою,
вином и песнями колдуний
в чаду безумий.

И кину руны при Луне
на голые ступени храма,
и знаки мага лягут прямо.

И призову я медных змей
кружить и, кольцами играя,
принести плодов от древа рая.

Рассматриваю руки на свету.
 Они огнём и кровью пламенеют.
 Пергамент кожи сохранил на время
 те письма, которые читать
 умею. И поэтому ладони
 так робко раскрываю, подношу
 сочувствию глубоких глаз.
 Что видеть и чему внимать стремлюсь?
 Тому ль, что пальцы тонкими слезами
 И лёгкой дрожью просьбы иль мольбой
 касаются пространства? Воздух слышит
 и чувствует моё прикосновение.
 Чем внешний отвечает мир
 на исповедь, возникшую спонтанно
 из капель воска нежных пальцев-свеч?..
 «Где Дании краса и королева?» —
 Молчание...

Зажгу собой от света
 среди людей, которых так немного,
 лучину вечности!
 Средь тьмы смотреть мы станем
 глазами, отрешёнными от лжи,
 пронизывая хаос несловесный
 собой. Душой оберегая Бога,
 усиливая нежность и рассвет,
 увидим в глубине себя небесной
 несущими Божественное Слово
 в ладонях наших книг, в страницах рук...
 Иль нет?..

На каменном полу ковром застыли
 Тарота узкие и глянцевые карты.
 Пришли три колдуна, смотрели в чашу
 и кровью капали на молоко и воду,
 чтоб рассмотреть
 бесплотных духов знаки.
 И мальчик созерцал в огне свечи
 лик Ангела. По шёлковому воску
 рука его лилась, и он читал
 бессвязные, немислимые речи
 ночных теней,
 во тьме ползущих в память.
 Процессии невидимого мира
 по коридорам гулким продвигались:
 охотники до жертвенных сожжений
 и фимиама воскурений сладких.
 И бережливо по шипам и розам
 там танцовщица нежными ногами
 переступала, голову закинув
 и в зеркало овальное глядясь.
 Там со змеёй в причудливой коробке
 горбун ходил и предлагал флаконы:
 в котором — яд,
 в котором — совершенство
 особых запахов.

И странные глаза
 светильников на потолке играли
 зеленоватым светом.
 А в алькове
 стояла статуя. Она была немая,
 но двигалась, указывая звёзды
 из древних атласов.

И в полной тишине
волшебный голос как бы ниоткуда
предсказывал судьбу в ночи не спящим
и пел свои чарующие песни
на языке песка пустынь и моря.

Конь с огненными крыльями летел,
летел навстречу пламенному утру
и утопал, и алый неба кров
обрисовал шаги его в движенье
плывущих мимо плотных облаков.
Конь с долгой гривой — лесной единорог —
забил по камню острому копытом.
В расщелине наметилась дверь,
замшелая, обитая железом.
Геральдика на ней: увенчанные жезлом
магические семь его ключей.
И за стволами жители лесные,
стрекозоккрылые, вспорхнувшие созданья,
желали это утро наблюдать
и требовать к себе вниманья:
по волнам сумерек,
ещё не отступивших,
из паутины натянув поводья,
они вели с собой коня морского,
он оставлял росу в рассветных травах.
Глаза коней — вишнёвые лампы,
соль будущего в гривах шелестящих
и гордость нарастающего ветра.

Небесных свеч загадочны огни.
Но что же Боги Судеб начертали
в потоках света? Радужные дни
или туманные века своей печали?

И океан волной тяжёлых век
скрывает тайну. Глубиной безмерной
его душа задерживает бег
слепого времени и смерти верной.

И не восстанет плоть великия Земли,
обласканные ветром, тихо горы
седым дыханием себя превозмогли
и кровью огненной не опалили взоры.

Голубизна меж тающих снегов
и линиями айсберга стального.
Покой в капелях льда. Забытых слов
полёт и пение — всё повторится снова.

Звукопись мыслей. Тиснёный сафьян.
Слов корабельность с плавною просинью.
Плотный пергамент старением пьян,
подслеповато-воздушною осенью.

Ломкое треньё прогоркших листов,
замерзших веками и веками,
патиной взглядов, патиной снов,
патиной мыслей с чернильными метами.

Цепкими лапками из-под пера
буквы выводятся верой и гладию.
Строгий узор. Книга легла
вечностью, силою, памятью, кладезью.

Говорят, даже время невечно
на досчатой ладони тибетца
и догматы небес провисают:
ах, когда его снимут с креста?

И вместилище снов быстротечно
наполняется тяжестью млечной,
но прослойка давлением встречным
бесконечного неба — тонка!

Там, наверху, седые паруса:
испарина морей зависла солью,
щипковых струн, натёртых канифолью,
скрипично-клавесинные леса.

Раскол небес, где веточки огня,
падение вод в базальтовые чаши,
и ветра палаши по шерсти пляшут,
под сталью чёрный омут хороня.

Но гематиты вогнутых зеркал
под скорлупой сферичною хранимы,
когда торнадо пронесутся мимо
и воссияет солнечный оскал.

О, мой астраханский, как сахар Сахары,
меч Волги, впадающий в ночь!
Заборы, засовы, оковы, заставы
не могут глагол превозмочь!

В предсердие мысли, в развилки желаний
бежит быстроходная речь,
осанна поэтам в безумии маний,
молитва, и шёпот, и сечь.

И сеет сквозь щели, и веет веками
сипяще-искрящийся слог,
и глас, разлитый волнами, снегами,
как суть и как небо, высок!

Триптих

1

Украсив пляской мозаичный лес,
находим пни, как узелки ошибок.
Хлопушек ждёшь иль карточных чудес
от короля наигранных улыбок.

Дождём идёт парад твоих ткачей:
цветные нитки, точные иголки
сквозь холст и совесть дня, сквозь шёлк ночей,
на память — бусинки да зеркала осколки.

Забытых лет забытое ярмо.
Изгибы линий жизни на ладони —
как та волна в замедленном кино:
скользишь — взлетаешь в пенистой короне.

2

Я сплю вдали. В гостях у Сальвадора.
Забытый ящичек откроет тело.
Смеющейся ресницей мастурбатор
проткнёт и обласкает мотылька.
Я сплю. Какие бронзовые лица
знакомцев на развилках и подпорках
обозначают около покоя
воздушность бытия и паруса?
Я сплю. И циферблатами, кусками
течёт моё заманчивое тело,
и первый опыт мягкий каннибальства
усов и ос... безудержно томим,
я сплю без снов. И верный комплекс Фрейда —

как образец войны в затылок милый
 бикини-сфинкса, в тело голой Леды,
 в подмышечные впадины Христа...
 приемлем чувственно...
 прозрачный намёк...

З

Скользишь — взлетаешь в пенистой короне,
 как та волна в замедленном кино,
 изгибы линий жизни на ладони —
 забытых лет забытое ярмо.

На память — бусинки да зеркала осколки.
 Сквозь холст и совесть дня,
 сквозь шёлк ночей —
 цветные нитки, точные иголки,
 дождём идёт парад твоих ткачей.

От короля наигранных улыбок
 хлопушек ждёшь иль карточных чудес.
 Находишь пни, как узелки ошибок,
 украсив пляской мозаичный лес.

Медные всполохи тёмного времени,
 старая мельница тминного семени,
 пола седая зола,
 липкие сети тенёт под навесами,
 солод тягучий, землистое месиво
 скука на стол подала.

Не остановится прялка скрипучая,
 серую нитью кудели закручены,
 щурится окон слюда:
 там, над лесами, кресалами кремния —
 медные всполохи странного времени —
 теплится солнца скирда.

Большие голубоглазые зеркала
в тяжёлой бронзовой оправе
с чернью и шёлковым отливом времени
смотрели слегка рассеянно и туманно,
отражая в себе лишь пейзаж
за узким окном.
Случайные лица
редко тревожили их память:
их глаза были направлены выше.
Выше суеты сует.
Выше общечеловеческих заблуждений.
Они смотрели как бы в никуда,
бесстрастно впитывали
опалом своего нутра
смену природных явлений, времён,
которые как бы не существовали.
И всё же картины, ими наблюдаемые,
оказывались глубоко эмоциональными
и трогательными.
Они источали чистоту.
Глубокий взгляд
отождествлялся с небом,
зеркала погружались в него, были им.
С почтением подходили к ним
путешествующие в поисках истины,
но зеркала глядели вдаль.
Глядели не отрываясь.

Чернильница оказалась пустой.
На доньшке маленького колодца
под серой пеленой времени —
глубокое тёмное небо
сверкнуло золотым отливом.

Иней — ознобом на стенах.
Долго стою среди снега.
Соль. Электрический свет.

Веер упрямых волос:
тонкие нити — завесой
перед глазами чужими.

Плакать, проснуться, искать
там, где растоптаны вишни
на ослепительно белом
снеге старения.

Ракушек скорлупу перетираю — хруст,
порез об острый край — загадка хиромантам.
Мой домик меловой и полый чист и пуст —
картавым голубям надёжная приманка.

От белизны сужается зрачок,
куриный ультразвук в движение вёртких крыльев.
Вдыхает аллергично звездочёт
труху от перьев? Взвесь алмазной пыли?

И, запертая, мечется душа,
и заплетаются морщинистые лапки,
и вечность теплится и тает не спеша
и на ладони капает украдкой.

Так в полной безысходности моей,
в моём молчании
растёт высокий царственный цветок —
растёт отчаянье:
он тонкие ресницы-лепестки
раскрыл торжественно
и просит влаги у моей реки,
моей божественной.
Она тиха, и имя той реки —
забвение.
Но глубже сна и мертвенно её
течение.

О, ты не можешь, ты уже не можешь
и не в ладах с собой.
Пришлось всё делать для себя самой:
сушить твои цветы, сухою валерьянкой
поить кота — для видимости счастья,
хотя животное ни в чём не виновато...
Нет, то была не я. Тяжёлой тенью
с натянутою режущей блесной
я плавала среди
ночных огней в эфире,
крестами слёз они стояли у дороги,
а тот, кто плачет, — жив, его тревоги
малы и милы, только смутных грёз
в задворках памяти, знакомых пустырей,
я обходила тёмные границы
и шла. Своим путём. И пусть тебе приснится
такая женщина, которая всегда...
Её небес манящая слюда
и перья мёртвой обожжённой птицы.

Застыли книги. Склеены страницы.
Песчаный ангел сбрасывает перья.
Пустой пейзаж от наслоения мыслей
пугает. И вползает недоверье —
что жизнь,
когда в ней ни любви, ни прозы,
ни даже прозы больше не осталось!
Безумен ангел, тернии, занозы,
заносы мыслей, холод и усталость.

И снегопад, и лестница наверх
утоптана следами в сон и в небо.
Держусь за воздух, медленный разбег
и — невесомость. Если бы я не был,
и не искал долины плача, боль
была бы мне за гранью незнакома.
Отсчёта нет, и даже точка «ноль»
не существует. Нет и метронома,
нет музыки, нет звуков и песка —
исчезло время, свёрнуто пространство.
Но хорошо ли, что наверняка
придёт ко мне такое постоянство?

По пересечённой местности
корабль в одиноком плаванье.
Такие живые сумерки,
что просто утопят заживо.
Кессонного подсознания
взовётся облако, облако —
такая битва с химерою,
такие редкие проблески!
Живёшь не дыша, но мучаясь,
Пегаса хватаешь — за ногу,
а время тихонько скручивает...
Откуда вся эта заданность?

Стакан со слезами выпью.
Усну в долине ночей.
Бездомен. Почти ничей,
кричу заболотной выпью.
И только благая лебедь,
сложив в изголовье руки,
и стоны мои, и муки
потянет в подзвёздный невод.

Что, встрепенувшихся вечером стаи
воронов чёрных очами играют? —
Нет, мои люди, нет ничего.
Только простор у коня моего.
Кто за калиткой с собачьими лапами
воет и лижет и рвётся нахрапами? —
Нет, мои люди, нет ничего.
Только простор у коня моего...

Трещит игла пластинки патефонной,
выюнкковый колокольчик, раструб, туба...
как будто ничего не предвещает,
но звук плывёт, и вязко так, и грубо,
и медленно глубокий зев глотает,
и раскрывает недр пещерных жерло:
готов ли ты? Действительность померкла,
готов ли ты сейчас пойти на жертву?
Квадрат. Квадрат и круг. Вселенский гробик.
Кошачья лапка слизывает звуки.
Щелчок — и чёрным диском остаётся
зрачок дракона, знавший эти муки.

Дездемона, Дездемона, о, morta!
Ареной правит пустота.
Дырявый колизей, кусок от торта
(ты слышишь?), шорох, шопот, тема рта
и музыкальность восковых пределов
телесных, неестественный шиньон
как ореол, и линий помертвелых,
померкших, заострённых, ложный сон,
такой, когда стучишь — и не откроют...
Заносчиво-надменно вознесён
вершиной, неприступною скалою
твой подбородок, но последний стон —
не услышать в меха обутой тени —
неясен для восторженной толпы,
приемлющей и боль, и смерть — отдельно,
как зрелище, где жертва — это ты,
Дездемона, Дездемона, о, morta! —
Довольные и сытые поют.
Кровавый колизей — кусок от торта.
Театр. Святилище. Последний твой приют.

Осиротел. На лацкане слеза.
И к небу не поднять тяжёлые глаза.
На ткани поиск, эти два нырка —
в запястьях тонкие немые руки
слагают песни о слепой утрате.
Невидимые ямки, узелки —
так на себе, как на картине боя,
распознаёшь засады да ухабы,
траншеи да засохшие воронки...
Колючей проволокой вьётся память, память...
Шершавый звук любви, изношенной шинели,
я, воин духа, близко прижимаю
к своей душе. Распознаёт душа
вчерашней доблести воскресший экспонат —
то виснет крыльями, ласкаясь по заплечьям,
затихший вечер. И среди забвенья
седых и старых мельниц продолжают
в открытом промахе войны и гигантизма
чертить замысловатые ступени,
молитвой приближать объятья неба,
кругами загребать звенящий воздух
и плакать, плакать —
руки станут плакать
на фоне тёмном отмерзающей земли.

Когда вчера
забытые цветы
не поливаешь медленной рукою,
они растут в пространстве сухости,
сворачивая вялые листья,
и улыбаются глазами старости.
О, пробудись!
Когда-нибудь и ты
начнёшь искать среди зеркал расставленных
то отражение немое —
то,
что звать хотел и узнавать — собою —
себя, вчерашнего.
Видений терпкий строй
передаёт усталые картины,
и тут дороги повседневные морщин
к глазам приводят:
встреча, взгляд и небо.
Себя узнаешь.
Только никогда
прозрачной юности не сможешь уж
напиться.
И в опоздании
сокроешь ты лицо
листами рук
сухих и шелестящих.

Это волосы ветра шумят тростником на песке.
Это губы пугливых коней, их невнятно наречье.
Это шорох сухих лепестков по шершавым рукам.
Это точка глубокая тьмы от слепящего серого солнца.
Это ночью жилец угловой пересчитывал старые чётки.
Это сорная память бессонницы: чёрной иголкой
проколола упругую кожу и душу зашила.

Я, лёжа на песке, закинул руки —
и утопает памятник приборя.
И меланхолия, и ветки каланхоэ
в облатках листьев с привкусом лимона.
Так жить? Забыв, что поутру,
простынным
шуршащим обмороком, сном ранимый,
я плоть горящую стяжал, а херувимы
мне пели плен в сетях своей любви...
Так жить и не сказать, что в побережье
уткнулась лодка в поиске причастья,
и перевозчик душ раскинул снасти,
и нежно кланяются, плачут пилигримы.

Ловлю рукою шарф текучих чувств,
что застывают налету в объятьях
непрощенной тюремщицы-зимы...

В её безумье,
угадывая страсть ночной позёмки,
плыву. Плыву туда, где брезжит свет,
губами прикоснуться к горизонту...

Таращится во тьме бельмо луны,
дрожат в ознобе колющие звёзды —
то голубеет кровь в зрачках рептилий...

И хрустнет позвоночник ледяной,
и даст молитва змеев сон, и смелость,
и крыльев перепончатую медь —
сверкать и петь, хоть это всё — пустое...

Хоть каплями сольётся соль морей,
воздвигнув столб — мечты моей надгробье,
хоть память — целованье голубей —
тоскою выжжена... И нет душе покоя...

О, торжествующий цинизм моей зимы,
моей любви распятие немое,
остался только шаг. До горизонта...

Дожди несуществующей страны
пронзили сон ногтями голубыми,
и кто сказал «ad astra», станет ныне
терновых ласк искать, а мы вольны

за шаг до яви за пунктир зари
застыть, её не дожидаясь взгляда,
и вне оков замедленного яда
узреть звезду. Запретная, гори!

И вот стучит не каменное сердце,
способное собою оживить
сто соляных столбов, и крепнет нить,
ведущая к давно забытой дверце.

И — ни души. Стою в сетях
своих продолговатых крыльев.
Два солнца катятся усиленно,
и надо сделать только взмах,
и надо сделать только вдох,
взглянуть в глаза, шагнуть навстречу,
я улыбнусь — и не замечу,
что я — уже не я...

Прислушайся:

в пространстве голубом,
в раю, исполненном деревьев,
застыла песня, млеко золотое
упало каплями
в ладони терпких листьев.

Ты знаешь, этой осенью не надо
о смерти говорить. Она забыла,
на счастье, в дом мой торную дорогу.

И я очнулась будто ото сна
и улыбнулась: это серый ветер
подставил щеку мне для поцелуя.

Август склоняет голову.
Сон. Налитые яблоки.
Сон под завесой пасмурной
жёсткой вощаной листвы.
Медленное, округлое,
как земли притяжение,
чувство, что небо низкое
держат дерев стволы.

Линий ландшафта выгнутых —
напряжённое, трудное,
как на теле классическом
культуриста-борца,
не-противостояние —
тонус любви лоснящийся,
тёмной лозою вьющийся
без конца, без конца!

Август мой леопардовый,
август урчащий, скалящий
яркие, но остывшие
чудо-солнца лучи,
сети твои расставлены,
ловчие звёзд не дремлющи.
В ночь охоты и нежности,
знай, тебе не уйти!

Блаженство и тоска. Природа позабыла
свой зимний час и в осени медовой
осталась, разлилась,
где воздух югом полон,
улыбкой шёлковой лукавого молчанья.

Струятся ленты золотого ветра
сквозь волосы берёз. И высохшие травы
грустят весной. И не заплачет день,
но только тёплой пустотой наполнит
ненатуральность рая или сна,
а тяжестью — полуденные лени
душистых флоксов.

О, не остановись, моё мгновенье!
Не дай упасть созревшему плоду,
не очаруй меня до верной смерти
зрачком застывшим, вечностью вопроса:
откуда и куда
идём?..

Два большеголовых одуванчика
медленно качались. Гибкий стебель,
сила и апломб. Вполне изящно
изогнувшись, выпрямляли листья.

Па для марлезонского балета
на газоне, временем не скошенном,
на приёме коронованной особы
в ослепительном сиянии небесном.

Два большеголовых одуванчика
при дворе всё кланялись до старости
в ореоле поседевшей святости.
И пожалованы мантией кленовой.

Высилась бледная ночь.
Точками малыми птицы
в тонком навесе из воздуха
долго томились недвижимы,
сотканы из одиночества.

Вечерели древние стволы.
Вечерели с твёрдою корою
пористые складки ранней старости
и глубокие провалы древ поющих.
Этим пеньем, шелестом, зовущим
осени чарующие шалости,
загрустили смутною порою
и — застыли. Гости близкой мглы.

Внезапный холод, изморозь и ночь
посеребрили наст хрустящим светом.
Шаги прохожего уносят лето прочь,
минуя осень, что забылась где-то.

И — пауза. Стекланный воздух пуст,
как вдох без выдоха задержано дыханье,
и только хруст,
сухарный, твёрдый хруст
земли, песка. Ужели то — прощанье

и завтра золото не коронует лес?

В испуге зелени
накрывшись сна периной,
качнутся ветви — руки до небес
поднять не смогут сосны да осины?

Иль это наважденье, странный страх
за чёрной непроглядностью провала
вдруг сгинет утром, и в окна размах
нахлынут краски!.. Осень ли настала?

Уколами дождя прекрасен мой октябрь
и колотым стеклом окрестных луж.
Под пёстрыми зонтами клёнов грустно
стоять и думать, думать о ненастном.

О том, что небо медленно уходит
под войлоком упругих душевных туч.

О чём же я? — Да, говорю, октябрь,
октябрь в ночи так сказочно прекрасен!
Сквозь темень непроглядную лесов
единый луч посеребрит пространство,
как лезвие, что одолеть не может
гигантский пласт из спёкшейся смолы.

О чём же я? — Да всё о красоте,
о том, что и природа увядает,
раскидывая семя, злаки, деньги
позолочёнными древесными листьями.

И бабочек больших на иглы иней
нанизывает, под стекло заводит
и оставляет чудные картины
до снежности.

На этом фоне бледных туч
я вся была одета в красном,
как поцелуй, как мака страстный
осенний опиум тягуч.

За мной влачился шлейф тяжёлый,
он оставлял багровый след —
не крови, нет, — играл подолом
листвы темнеющий букет.

Асфальта серая дорожка,
мой парк, мой подиум. Одна
иду, грустна. Глазами кошки
всё смотрит на меня Луна.

Она сплела из дымки белой
те опахала-облака,
и поступь новой королевы,
осенней, ветрено-легка.

Весь день шёл сиротливый дождь.
И все наряды платьем серым
казались вымокших берёз.

И зябко в оскудевшем злате
стояли липы у реки,
подсчитывая лоскутки:
заплата клеилась к заплате.

А клён в экстазе трепетал.
Он обагрил свои одежды
вином любви, вином надежды.

Сумрак рябиновый с листьями слёз,
воздух ли мутный запахом камбия
ранен, как будто морских стрекоз
ловит нам осень дождём, шуршанием.

Запахом гривы и шерсти мха
дарит. Накапало ягод с рябины.
Дарит отливы по глине ручья
в скользкие руки корней. Крапивой
плачет по-сонному синяя ель,
плачет верёвкой, кольцом дренажным.
Иль то заброшенная качель
голосом стонет гладким да влажным?

То древесина поёт — у птицы
крыльев нет для больной качели.
Новой зиме суждено родиться.
Ели молчат. Одинокие ели.

В золотых острокрылых ветрах,
в невесомости медленной песни,
в эктоплазме лесов,
и в ладонях сиренево-млечных
предвечернего бледного неба,
и в медовых плодах смоковниц,
и в кружении шёлковом дервишей,
вызывающих дождь,
и в тягучем вине вождлений
ты меня не узнал.
Я твоя запоздалая осень.

Звук поздней осени в глухую пору.
Транзитом пробегает Марс.
Любая перспектива,
особенно осенние пейзажи
из облетевших веток и сырости
сквозь линзы слёз — невидимой рукой
через бинокль тумана проступают.

И видится: листвы любовный трепет —
последнее и робкое признание
земли ещё суровым небесам.
Тяжёлый взгляд небес из-под нависших,
набрякших и мохнатых серых туч,
их недовольство, вызванное ветром.
И — тишина земли, заплаканной и ждущей,
когда Отец Покоя снизойдёт,
и грешницу безгрешную утешит,
и уврачует раны белым снегом,
и долгим сном сомненья разрешит.

Усни, дитя... И юноша весёлый
весной разбудит, звоном голосов
воды и птиц, и будет вам потеха
по лужам прыгать, в зеркальце смотреть,
и в озере ловить упругих рыбок,
и поцелуем почки раскрывать,
и украшать — всё украшать цветами!

Заблудишься — и медленное лето
тебя настигнет. Розовые стебли
питают влагой розовый бутон,
и вся природа жгучим наполнением,
как солнцем, утоляется, и сладко

томятся ленью завязи цветков,
проникновенно, самоуглублённо
хранят в себе растущее движенье
и — в золото — сияньем — изнутри —
рожают силу — огненную осень!

Свершилось! Осень! Время пахнет мёдом.
Настой хвои, коры и бурых листьев
она в пруду мешает помелом,
тихонько воет и тихонько плачет,
колдунья, предсказательница ветра,
жары и стужи, он тебя не любит.
И, завернувшись в тёмный плащ, бряцая
скорлупками, сухими семенами
путь осыпая, собирая клюкву, она уходит.
Поздно, очень поздно...

| | |
|-------------------|---|
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 3 |
|-------------------|---|

ВЕКИ СЕВЕРА

| | |
|--|----|
| «О душе серебристой свирели...» | 5 |
| «Зарёю серой свиристели стаи...» | 6 |
| «На веки севера кладу пыльцы налет...» | 7 |
| «Я видел сон, души воздушной айсберг...» | 8 |
| «Крылатый месяц меж крылатых сов...» | 9 |
| Зимний день | 10 |
| «Провалившись в облака-сугробы...» | 11 |
| «Зима с тобою — первый крик весны...» | 12 |
| «Равнины солнечного света...» | 13 |
| «Столь странный север: на моё чело...» | 14 |
| «Он шурился. От солнечного света...» | 15 |
| «Что в снегопаде чувств...» | 16 |
| «Сон тяготит на всём...» | 17 |
| «Заплывшие, пресыщенные стражи...» | 18 |
| «Снежный наст испещрен письменами...» | 19 |
| «Опять из сахарного плена...» | 20 |
| «О, айсберг в глубине своих ночей!» | 21 |
| «Танцы белых волков. Наверху разбегаются волны...» | 22 |
| «Этот день, ванильный и ломкий...» | 23 |
| «Лесов высокую корону...» | 24 |

БЕЛЫЕ ВЕРЛИБРЫ

| | |
|---|----|
| «Подожёл кто-то белый...» | 25 |
| «Ах, ну отчего же белый?» | 25 |
| «Утро режет глаза...» | 25 |
| «Не видящий белых кораблей...» | 26 |
| «Маятник...» | 26 |
| «И плач родившегося...» | 26 |
| «Младенец...» | 27 |
| «Белый шёпот между белыми деревьями...» | 27 |
| «Белые угли бывают в зазеркалье...» | 27 |
| «У белой коровы были...» | 28 |
| «Белый? — как сон...» | 28 |

ЖАННА

| | |
|-------------------------------------|----|
| «Какой божественный удел...» | 29 |
| «Жанна вложила золото в ножи...» | 30 |
| «Реймса чёрная корона...» | 31 |
| «Жанна, Жанна, ласково и тленно...» | 32 |

ТЕАТР БЕССОННИЦ

| | |
|--|----|
| «В ночь земли, в её внимательное ухо...» | 33 |
| «Бледнеет синий занавес окна...» | 34 |
| «Стена без окон, где твои глаза?» | 35 |
| «Окно ночное звуком “о”...» | 36 |
| «Неутолённый взгляд ночных зеркал...» | 37 |
| «Разложим комнату на части сонных числ...» | 38 |
| «Млечный путь расправил крылья...» | 39 |
| «Есть в каждом городе среди пустынных улиц...» | 40 |
| «Нам всем за сорок...» | 41 |
| «В застенке мыслей медленная лень...» | 43 |
| «Как хотелось бы мне в тихий дом...» | 44 |
| «Из пустоты стеклянными дворцами...» | 45 |
| «Когда-нибудь заморожено...» | 46 |
| «Едва ли колокол ночной...» | 47 |
| «Луна слепа. И, голову склоня...» | 48 |
| «Склонённые, глянцево фарфоровые лица...» | 49 |
| «Роскошествуя в сумерках мудрёных...» | 50 |
| «Откинув голову, я видела во тьме...» | 51 |
| «Ночная дорога — дыхание путника...» | 52 |
| «В круженье каруселей — сны...» | 53 |
| «Как нетронутый берег...» | 54 |

ЗВУКОПИСЬ ЛИСТЬЕВ

| | |
|--|----|
| «Это не ночь для сна...» | 55 |
| «Сидит на корточках маэстро козлоногий...» | 56 |
| «Пара абрикосовых косточек на блюде...» | 57 |
| «Я улечу в цветочные края...» | 59 |
| «Забрался в куст — шальных ветвей прибой...» | 60 |
| «Когда кони ржут и трава томится...» | 61 |

| | |
|---|----|
| «— Заброшенный дом у истока реки...» | 62 |
| «Сон хризопразов зелени ночной...» | 63 |
| «О, серафимы, лето стрекоз!» | 64 |
| «Люблю я тяжести земли...» | 65 |
| «Ходили слушать, как ветер, как ветер...» | 66 |

НЕЛИЦЕМЕРНЫЕ ЗАМЕТКИ ЛЮБИТЕЛЯ ЖИВОПИСИ

| | |
|---|----|
| «Капуцины спуют, бисер собирают...» | 67 |
| «Укутаюсь в кустах под шерстяную тканью...» | 68 |
| «Кирпично-красный...» | 69 |
| «Дети поливают дерево вином и молоком...» | 70 |

МОРЕ

| | |
|--|----|
| «И рыба-солнце уплывает...» | 71 |
| «Фрегат в солёных парусах...» | 72 |
| Кора рострума | 74 |
| Дебюсси | 75 |
| «Ветра веер волны расшивают...» | 76 |
| «Шорохи шлюза...» | 77 |
| «В вечерней музыке ночная глубина...» | 78 |
| «Плен сладких сил и сонных хризантем...» | 79 |
| «В ракушки собираясь, время-море...» | 80 |

ЯЗЫК ДОЖДЕЙ

| | |
|--|----|
| «Слышишь? Сонные серые звуки...» | 81 |
| «Развалины. Разрушенная крепость...» | 82 |
| «И, как в воде, по Павловску мы бродим...» | 83 |
| «В фиолетовых липах полощется дождь...» | 84 |
| «Я, вероятно, не избавлюсь...» | 85 |
| «Ливневая змея, сливовая змея...» | 86 |
| «Снова за стеклом окна...» | 87 |

СВОЙСТВА ГРЁЗ

| | |
|--|----|
| «Касались пальцами, писали письма...» | 88 |
| «Дом создан из песка. Из дыма. Тихий дом...» | 89 |

| | |
|---|-----|
| «У тополей раскрашенные веки...» | 90 |
| «Тополя серебристой листвой...» | 91 |
| «Лиловым сумраком приходит ночь неслышно...» | 92 |
| «О, руки серебра, ведите в ночь...» | 93 |
| «У трубочиста на крыше мурлычат небесные кошки...» | 94 |
| Из жизни цветка | 95 |
| «Моя покинутая тень...» | 96 |
| «Минареты деревьев в зелёном тумане лесов...» | 97 |
| «Верблюжье шествие псалмов...» | 98 |
| «Метельщик, тёмный друг Шагала...» | 99 |
| «Мой поцелуй с картины Климта...» | 100 |
| «Среди зеркал и лабиринтов Лувра...» | 101 |
| Тем, у кого есть трость, цилиндр, монокль и прочие ненужные вещи | 103 |
| «Небо русое. Два светила...» | 104 |
| «Как будто нужен липы цвет...» | 105 |
| «Ты обернулся. Нежный. Посмотри...» | 106 |
| «Тучи, словно тихие слоны...» | 107 |
| «Нам Дроссельмейер сказку обещал...» | 108 |
| «Венеция, маски, ночные гирлянды...» | 109 |
| Кавалер барокко | 110 |
| «Входит во сне шагами дождя...» | 111 |
| «В твоих глазах цветёт авантюрин...» | 112 |
| «Защитник птиц ночных...» | 113 |
| «По рекам на деревьях плыть...» | 114 |
| «Несёт сиреневые свечи...» | 115 |

ДАР

| | |
|--|-----|
| «Бабочка. Живая...» | 116 |
| «На том стоим, тем дышим, тем играем...» | 117 |
| «Жертва и мудрость...» | 118 |
| «Я обнаружил, что я нежен...» | 119 |
| «Кто научит меня летать?» | 120 |
| «Опалённые перья, полёт, золотые глаза...» | 121 |
| «Я на драконе синем улечу...» | 122 |
| «В ночи у золотых драконов...» | 123 |
| «А, говорят, в глаза дракона...» | 124 |

| | |
|--|-----|
| «Светало... Розенкрейц...» | 125 |
| «Как элементы...» | 126 |
| «И прилетел мой светлый ангел в ночь...» | 127 |
| «Всё воск и лёд, всё ласточкины гнёзда...» | 128 |
| «Я нарисую зеркала...» | 129 |
| «Рассматриваю руки на свету...» | 130 |
| «На каменном полу ковром застыли...» | 131 |
| «Конь с огненными крыльями летел...» | 133 |
| «Небесных свеч загадочны огни...» | 134 |
| «Звуконпись мыслей. Тиснёный сафьян...» | 135 |
| «Говорят, даже время не вечно...» | 136 |
| «Там, наверху, седые паруса...» | 137 |
| «О, мой астраханский, как сахар Сахары...» | 138 |
| Триптих | 139 |
| «Медные всполохи тёмного времени...» | 141 |
| «Большие голубоглазые зеркала...» | 142 |
| «Чернильница оказалась пустой...» | 143 |

СНЕГ СТАРЕНИЯ

| | |
|---|-----|
| «Иней – ознобом на стенах...» | 144 |
| «Ракушек скорлупу перетираю – хруст...» | 145 |
| «Так в полной безысходности моей...» | 146 |
| «О, ты не можешь, ты уже не можешь...» | 147 |
| «Застыли книги. Склеены страницы...» | 148 |
| «И снегопад, и лестница вверх...» | 149 |
| «По пересечённой местности...» | 150 |
| «Стакан со слезами выпью...» | 151 |
| «Что, встрепенувшихся вечером стаи...» | 152 |
| «Трещит игла пластинки патефонной...» | 153 |
| «Дездемона, Дездемона, о, мотга!» | 154 |
| «Осиротел. На лацкане слеза...» | 155 |
| «Когда вчера...» | 156 |
| «Это волосы ветра шумят тростником на песке...» | 157 |
| «Я, лёжа на песке, закинул руки...» | 158 |
| «Ловлю рукою шарф текущих чувств...» | 159 |
| «Дожди несуществующей страны...» | 160 |
| «И – ни души. Стою в сетях...» | 161 |

Звуки золота

| | |
|---|-----|
| «Прислушайся...» | 162 |
| «Август склоняет голову...» | 163 |
| «Блаженство и тоска. Природа позабыла...» | 164 |
| «Два большеголовых одуванчика...» | 165 |
| «Высилась бледная ночь...» | 166 |
| «Вечерели древние стволы...» | 167 |
| «Внезапный холод, изморозь и ночь...» | 168 |
| «Уколами дождя прекрасен мой октябрь...» | 169 |
| «На этом фоне бледных туч...» | 170 |
| «Весь день шёл сиротливый дождь...» | 171 |
| «Сумрак рябиновый с листьями слёз...» | 172 |
| «В золотых острокрылых ветрах...» | 173 |
| «Звук поздней осени в глухую пору...» | 174 |

Надежда Жандр
Театр бессонниц
Стихи

Редактор –
Корректор –
Оформление – О. Буковская

Формат 107×198, гарнитура LiteraturnayaC.
Печать цифровая. Тираж 400 экз.
отпечатано в типографии ...